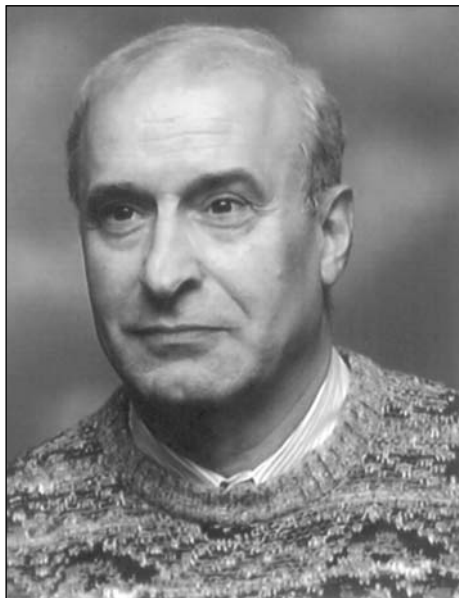


## СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО САМОСОЗНАНИЯ В СССР



**Дмитрий Григорьевич ЯКИРЕВИЧ**  
**Еврейский (идиш) поэт и композитор**

Родился в 1942 г. Детство прошло в Виннице, на Украине. Считает, что у него три родных языка — еврейский (идиш), русский и украинский. Всеми тремя владеет на высоком литературном уровне. Получил музыкальное образование, также окончил МГУ. Работу совмещал с преподаванием и пропагандой любимого мамэ-лошн в неофициальных группах. Обучал правильному произношению актеров Московского еврейского театра и еврейских ансамблей. Ставил на квартирах самодеятельные спектакли, писал для них еврейские песни. Руководил неофициальным еврейским вокальным ансамблем ЕВАНС (ЕВрейский АНСамбль).

В начале 1988 г., когда железный занавес ещё продолжал существовать, после длительной борьбы за выезд уехал в Израиль. С тех пор живёт в Иерусалиме. Автор многочисленных поэтических произведений разных жанров на еврейском языке. Лауреат литературной премии имени Лейба Рубинлихта за 2005 г. Член Союза еврейских (идиш) писателей и журналистов Израиля и Союза композиторов и музыкальных издателей Израиля. Организатор и руководитель вокального ансамбля «Идишланд», исполняющего в основном песни, автором текстов и музыки которых является Якиревич.

## **Д.Г. ЯКИРЕВИЧ О СЕБЕ**

**Письмо, адресованное Н.В.Юхнёвой. 31.01.2008.**

Ответ на Ваш вопрос — как я пришёл к еврейской культуре.

До трёх лет моим языком был только еврейский, ибо я воспитывался бабушкой, которая по-русски и по-украински знала несколько десятков слов, а мать была во время войны занята на разных работах — от преподавательницы музыки и пения и немецкого языка до уборщицы в школе, а также на разного рода сельхозработах в колхозе.

Когда мой отец вернулся с войны и застал меня в таком положении, он пришёл в ужас: «Вы испортите ребёнку акцент». Вскоре после войны он умер и уже не узнал, как складывались мои отношения с русским и другими языками.

Моими колыбельными песнями были еврейские. Некоторые — довольно высокого литературного и музыкального уровня. Например, самая первая — «Бегут, мчатся чёрные тучи», на слова Гирша Номберга, инициатора Черновицкой конференции 1908 г., и музыку Иосифа Ахрона, одного из создателей Петербургского общества еврейской музыки.

Бабушка знала сотни еврейских песен, в девичестве она не пропускала ни одной театральной постановки. Из зала, видимо, уходила с песнями, звучавшими со сцены. Она знала и массу русских и украинских песен, правда, слова произносила примерно так, как нынешние исполнители «идишских песен» — еврейс-

кие. Вообще она была очень музыкальной наследственно: её отец (мой прадед) был кантором. Она пошла рано работать, белошвейкой. Девичий цех трудился с утра до вечера, и за работой девушки целый день пели, но не просто: они и сочиняли собственные песни. Порой на понравившиеся мелодии европейской музыки, об авторах которых, видимо, ничего не знали. Например, бабушка напевала песню о прекрасной Розочке на мотив полонеза «Прощание с родиной» знаменитого романтика Михала Клеофаса Огиньского, между прочим, участника восстания Костюшко. Или величальную песню, обращённую к гостям, на мотив «Арлезианки», не предполагая о существовании Ж. Бизе. Когда она слушала по радио эти миниатюры, то могла заявить о приоритете своего девичьего коллектива.

Моя мать, выпускница еврейской школы в Житомире, с детства пела. Она обладала природной постановкой голоса (французское меццо-сопрано) и была любимицей своего педагога-профессора... Аполлоновны (не помню имя), видимо, вынужденно оказавшейся в украинской провинции после 1917 года. Мать пела европейский, русский, украинский и еврейский репертуар на многочисленных концертах и по всеукраинскому радио. Она знала лично всю еврейскую культурную элиту, ибо с детства пела на встречах с Бергельсоном, Квитко и другими.

Однажды летним днём 1936 г., ей было тогда 15 лет, мать распевалась. В дверь постучали. Солидный человек представился: я Шейнин. Это был художественный руководитель ЕВОКАНСа (Еврейский вокальный ансамбль), знаменитый дирижёр Егошуа Павлович Шейнин. Он пригласил девочку на прослушивание, «вместе с отцом». На следующий день они отправились в гостиницу, где остановилась труппа ЕВОКАНСа. После того как мать спела несколько вещей, Шейнин объявил, что она принята в академическую капеллу (полное название: Государственная Еврейская заслуженная академическая хоровая капелла ЕВОКАНС). Но дед, довольно образованный человек, не отпустил её в Киев из предубеждения к артистической карьере.

После войны мать пела некоторое время в ансамбле песни и пляски (ведущей альтовой партии), а потом руководила многочисленными хорами. Так что мои занятия музыкой не были формальными.

Еврейская культура, «нецензурная» на улице и в обществе, присутствовала всегда в моей довольно бедной, если не сказать обездоленной, семье. Но не было никаких противопоставлений русской или украинской. Эти культуры ни в чём не были виноваты. Более того, как я впоследствии узнал, все значительные фигуры в еврейской литературе, театре и музыке учились академизму у этих культур. Впоследствии я тоже пошёл по этому пути.

Будучи мальчишкой, я, с одной стороны, осознавал: это нечто запретное, неприличное и является как бы домашней тайной. Но, с другой стороны, как я уже сказал, мать прививала мне любовь ко всему русскому, украинскому и европейскому. Сказать, чтобы в этом была какая-то система, трудно: из-за войны она не успела получить настоящего образования и осталась ремесленником, но очень добротным и фанатично добросовестным (её репетиции с хорами и певцами были многочасовыми и ненормированными, в том числе дома, в выходные дни, в любое время суток). Всё, что мне прививалось, шло на интуитивном уровне. Порой в этом ощущалось нечто утилитарное: чтобы я выучился и не голодал. Но, конечно, приобщение к еврейской культуре носило альтруистический характер: трудно было ожидать, что это может прокормить или даже просто создать авторитет в обществе. Во всяком случае, в ассимилированной (точнее, аккультурированной) еврейской среде наша культура выглядела объектом скорее глумления, нежели почитания. И для детской психики бывало не просто справиться с ощущением второсортности, оттого что ты владеешь каким-то плебейским, отвратительным наречием, над которым смеются все культурные евреи: врачи, педагоги, учителя музыки. Вообще вопреки всякой нормальной человеческой логике культурным проявлением считалось незнание этого языка, как минимум, «понимание лишь немножко».

Из дома я вынес, наверное, 300 песен. А сотни или тысячи остальных приобрёл, слушая и подбирая всё, что можно было, особенно из радиопередач зарубежного радио: из Израиля, США, Румынии, Великобритании, Франции, Монте-Карло... В 1960–1980 годах много радиостанций вещали на языке идиш.

Как я уже сказал, мать воспитывала меня в уважении к любым языкам и культурам, прежде всего к русской, украинской,

еврейской. Конечно, к европейским. С восьми лет я читал газеты по-русски и по-украински, несколько позднее начал читать и по-немецки. На идише мне читала мать: Шолом-Алейхема, советских авторов. А с 1954 г., когда после смерти Сталина дозвированно была дозволена еврейская культура, мать брала меня на концерты прекрасных исполнителей, как возвращавшихся из ГУЛАГа, так и тех, кто избежал репрессий на рубеже 1940–1950-х годов.

Несмотря на национальные комплексы, о которых писал выше, всё же я до 17 лет был уверен, что евреи в принципе такой же народ, как и все другие. И прочитанные самым внимательным образом в этом возрасте известные статьи Ленина и особенно Сталина по национальному вопросу вызвали у меня потрясение. Моё сознание не могло объять того, что мы не нация и, стало быть, всё, что положено «нормальным нациям», писано не про нас. И что вообще у нас, получается, нет никаких прав...

В детстве я знал несколько еврейских букв. Читать же научился в возрасте 25 лет, приобретя в московском киоске орган Нового коммунистического списка Израйля — РАКАХ (это была одна из двух групп (проарабская), образовавшихся в результате раскола компартии Израйля в 1965 г.). Название газеты воспроизводилось под шапкой также и латиницей. Это добавило ещё несколько букв, вдобавок к тем, которые я знал с детства. Поскольку к тому времени моя устная еврейская речь была не просто совершенной, но даже и сценической — за счёт всех принимавшихся радиопередач, (в том числе и советской — на Израиль — «Мир и прогресс» — возможно, с лучшими в мире дикторами, михоэлсовскими актёрами, но невероятно одиозно-пропагандистской) и знакомства со спектаклями Московского еврейского драматического ансамбля — самообучение чтению произошло довольно быстро. Потом я стал подписчиком журнала «Совэтиш хэймланд» и газеты «Биробиджанэр штэрн» и начал читать художественную литературу. С конца 1970-х годов стал писать песни. Сблизился с уцелевшими деятелями культуры и выходцами из Польши и Литвы, которые проявляли ко мне интерес. Это сопровождалось обменом литературой. Впрочем, это движение было скорее одно-сторонним: я получал гораздо больше, чем давал.

Потом приобщился к движению отказников, стал участвовать в постановке пуримшпилей с моей музыкой, началась работа над мюзиклом «Деревянная принцесса».

Естественно, годы 1980–1987 прошли под знаком борьбы за выезд.

С 1982 г. участвовал в работе Еврейской историко-этнографической комиссии, что расширило мои представления и снабдило некоторым «инструментарием» исследователя-историка. Признаюсь, что это помогло избавиться от риторики и приучило выражаться в категориях объективности. Как выпускнику механико-математического факультета МГУ мне пришлось приложить опеределённые усилия, чтобы овладеть непривычной методологией.

Разработал и преподавал курс погружения в идиш. В частности, в 1986–1987 гг. обучал еврейской сценической речи актёров Московского еврейского драматического театра-студии.

В Израиле (с января 1988 г.) продолжал работать не только в области музыки. Мною написаны десятки статей по вопросам музыки, театра, прессы для КЕЭ (Краткая еврейская энциклопедия) и для периодики.

Создал много поэзии, в разных жанрах, крупных и малых.

Лауреат премии Лейба Рубинлихта по литературе за 2005 г.

По оценкам ведущих специалистов, например профессора Дова Ноя, я занимаюсь искусством профессионально. Своё амплуа в целом затрудняюсь определить. С детства учился общеобразовательным наукам и музыке. Участвовал в математических, физических и химических олимпиадах (занимая призовые места). Точно так же выступал в многочисленных концертах. Трудно прибегать к примерам, чтобы не впасть в манию величия, но если согласиться, что подражать этим примерам позволительно, то в истории еврейской культуры, как и русской (особенно музыки), их полно, когда имело место сочетание деятельности разного рода.

С 1988 г. продолжаю работать в области компьютерных технологий (руководитель проекта) в Израиле (тем же занимался и в Москве до отъезда в Израиль, был тогда главным инженером проекта). А еврейскую музыку не перестаю писать. И несмотря на невероятные трудности и пренебрежительное отношение к

ней в Израиле, стараюсь, чтобы она звучала на радио и в концертных залах, причём на профессиональном уровне. Разные сферы своей деятельности «не смешиваю» в том смысле, чтобы не быть композитором среди программистов и программистом среди композиторов. Ни в одной из моих статей на темы культуры нет никаких намёков на программистскую деятельность. Правда, я активно использую компьютерные возможности в работе над своими музыкальными произведениями, которые часто первоначально звучат в виде компьютерных фонограмм.

Своё амплуа, повторяю ещё раз, затрудняюсь определить. Занимаюсь тем, что мне нравится. Пытаюсь, с трудом, оказывать влияние на процессы в еврейской культуре в качестве члена правления Союза еврейских (идиш) писателей и журналистов и члена Союза композиторов и музыкальных издателей Израиля, а в прошлом — вице-президента Всемирного Совета по еврейской (идиш) культуре. И подчеркну, что на поприще влияния не добился заметных успехов. От прочих общественных должностей отказываюсь.

*Добавление Н.В. Юхнёвой*

Для более полного понимания мироощущения Якиревича считаю уместным поместить здесь его стихотворение, посвящённое России. Оно написано в Иерусалиме на еврейском (идиш) языке, привожу свой перевод (последние четыре строки — в переводе автора).

## К РОССИИ

Дорогую мне природу  
Дал тебе в удел Всевышний.  
А в культуре твоей вечной  
Не чужой я и не лишний.

Песню русскую услышу –  
Сердце радостно забьётся.  
Между русским и евреем  
Бой в душе моей ведётся.

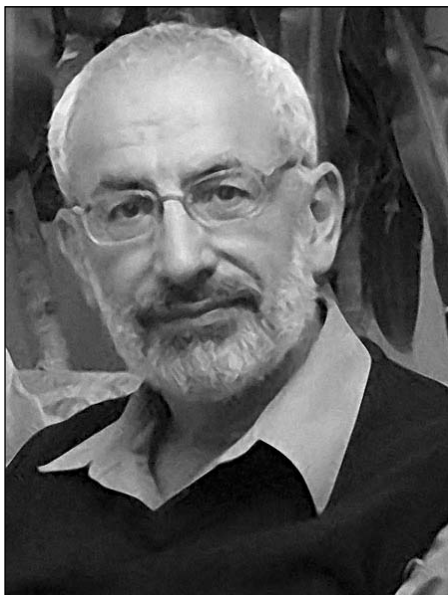
Надо ль это разделенье?  
Сон я вижу по ночам —  
Всходит солнце — единенье,  
Вышний дар, приходит к нам.

Душу я делить не в силах.  
Я и русский, и еврей,  
Сын Израиля, России –  
Родины двойной моей.

Мне еврейство не мешает  
Другом быть — я знаю это –  
Африканца и китайца,  
Русского, японца, шведа.

Сохраним в безумном мире,  
Что безжалостно суров,  
Гордый, сильный наш характер,  
Перешедший от отцов.





### **Михаэль (Михаил) БЕЙЗЕР**

Родился в Ленинграде в 1950 г. Закончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, работал программистом в ЦНИИ «Румб», затем в ВПТИ «Энергомаш».

С 1979 г. — отказник, активист еврейского движения.

Руководил домашним семинаром по еврейской истории и культуре, редактировал «Ленинградский еврейский альманах» (ЛЕА), водил экскурсии по еврейским историческим местам Ленинграда, участвовал в демонстрации семи отказников у Ленинградского обкома КПСС 23 марта 1987 г. В мае 1987 г. выехал в Израиль.

В 1996 г. получил PhD по истории в Еврейском университете Иерусалима. В 1992–1997 гг. работал в Центре по исследованию и документации восточно-европейского еврейства Еврейского университета (ред. журнала «Jews in Eastern Europe»). В настоящее время лектор по истории евреев России и СССР на кафедре еврейской истории и при Центре Чейза по развитию иудаики на

русском языке Еврейского университета в Иерусалиме, зам. главного редактора журнала «Вестник Еврейского университета», советник директора программ СНГ «Джойнта». Автор книг, изданных на русском, английском и иврите: «Евреи в Петербурге», «Евреи Ленинграда, 1917–1939: национальная жизнь и советизация», «Наше наследство: Синагоги СНГ, прошлое и настоящее», «Американский брат. «Джойнт» в России, СССР, СНГ» (соавтор — Михаил Мицель). Лауреат Анциферовской премии (Санкт-Петербург, 2000) и премии «Олива Иерусалима» (2005).

## АВТОБИОГРАФИЯ<sup>1</sup>

Я родился 8 апреля 1950 г. в Ленинграде. Мой отец, Израэль Моисеевич (по паспорту — Суля Мошкович) Бейзер (1911–1974) — родился и вырос в глухой украинской деревне Бронники Изяславского уезда. Сейчас это Хмельницкая область. Это не так далеко от Меджибожа, в котором до сих пор сохраняется могила основателя хасидизма Баал Шем Това. Мне отец не сообщил, была ли его семья хасидской или миснагедской. Папа был младшим сыном в семье, рано осиротел, воспитывался старшей сестрой. Никакого систематического школьного образования он не получил, а религиозное — только в раннем детстве. Иврита не знал, но умел читать некоторые молитвы. Со своим братом, жившим с конца двадцатых годов в США, переписывался на идише. Иногда, особенно помню из раннего детства, родители говорили между собой на этом языке.

Отцу пришлось немало прослужить в армии. Сначала — срочная служба на реке Уссури на Дальнем Востоке, потом финская война (1939–1940). На Отечественную войну отец пошёл добровольцем из блокадного Ленинграда, был ранен весной 1942 г. Ему ампутировали кисть правой руки и вывезли в тыл.

---

<sup>1</sup> Написана в Израиле в октябре 1987 г. Опубликовано частично на иврите в 1988 г. в Иерусалиме. См. Beizer M. Peilut tarbutit-yehudit be-Leningrad // Yehudei Brit-Namoatsot / Ed. David Prital. Jerusalem., 1988: № 11: 132–138. Настоящий текст перед публикацией доработан автором и снабжён его примечаниями.

Моя мама, Рахиль Михайловна (Рохля Мэйлаховна) Бейзер (урождённая Медведева) родилась в 1917 г. в городке Клинцы<sup>1</sup>, тогда — Черниговской губернии, а теперь — Брянской области. Моя бабушка по материнской линии, Доба-Мэра, дочь просвещённого меламеда, в одиннадцать лет оставшаяся без матери, а в шестнадцать круглой сиротой, была в нашей семье главной носительницей традиции [её воспоминания см. во второй части данной книги. — *Н.Ю.*].

Дедушка в годы НЭПа был булочником. Году примерно в 1930-м он перевёз свою семью в Ленинград, так как только там после обязательного рабочего стажа на заводе и рабфака дети «лишёнца» могли рассчитывать на поступление в институт. Моя мама успела закончить фармацевтический техникум и вскоре была отправлена на финский фронт. В «освобождённом» Выборге они с отцом зарегистрировали свой брак. У меня есть две старшие сестры, Тэма и Роза<sup>2</sup>. Обе они замужем за евреями.

Во время Отечественной войны бабушка вернулась к религии. Мне запомнился их дом в Левашове, пригороде Ленинграда, куда они переселились после выхода дедушки на пенсию в 1952 г. Кроме посуды для всех, бабушка держала отдельную кошерную посуду для себя. В субботу зажигались свечи. Дедушка молился в ветхом талесе (новый негде было достать). На косяке спальни была прикреплена *мезуза*. На пасхальные *седеры* бабушка властной рукой умудрялась собирать всю или большую часть семьи, включая русскую жену и русского мужа двоих из её шести детей, а также многих внуков. Она угощала нас *цимесом* и *имберлах*, заставляла прослушивать пасхальную Агаду от начала до конца, комментировала её по-русски. В начале 1960-х, когда мацу нельзя было купить в синагоге, бабушка пекла её сама на большой кухонной плите.

Бабушка иногда пыталась научить нас, внуков, еврейскому алфавиту и познакомить с главными сюжетами из Пятикнижия. Однако это её «мракобесие» рьяно пресекалось детьми-атеистами. Всё же именно от неё я впервые услышал о великом Моисее и пре-

---

<sup>1</sup> Мама умерла 15 декабря 2004 г. в Иерусалиме.

<sup>2</sup> Роза умерла 11 мая 2005 г. в Израиле, в возрасте 58 лет. Старшая сестра Тэма живет в Иерусалиме.

красном Иосифе. Сейчас я понимаю, что этот дом и по внешнему виду — обветшалый, с покосившимся забором, козой (пока её не отняли при Хрущеве) и курами, и по царившему там быту (идиш, кошер, ссоры и взаимопомощь внутри одной большой семьи), этот дом являлся осколком местечка, случайно занесённым под Ленинград и сохранившимся вплоть до семидесятых годов.

Несмотря на то что уровень жизни советских евреев был выше среднего, я помню своё детство как очень бедное. До 16 лет я жил в коммунальной квартире в одной комнате со всей семьёй. Во время войны в эвакуации у мамы умер в яслях годовалый ребёнок, поэтому она боялась отдавать меня и сестёр в ясли и детский сад, устроилась на работу только после того, как я пошел в школу. Отец — инвалид Отечественной войны без образования — получал мизерную зарплату. В раннем детстве я помню мамины голодные обмороки. Высшее образование смогли дать только мне. Сёстры после семилетки пошли в техникум, чтобы вносить свою грошовую стипендию в общий котёл и быстрее начать работать. Тэма закончила заочно институт, когда ей было уже за сорок. Лет примерно до восемнадцати я обходился без телевизора, телефона, возможности почитать книги и выезжать летом на юг.

Зато не обходилось без антисемитизма. Его было предостаточно на коммунальной кухне, в школе и во дворе, в пионерском лагере, куда меня впервые рискнули послать в четырнадцатилетнем возрасте, соблазнившись бесплатной путёвкой.

Моя жизнь изменилась к лучшему в девятом классе, когда я перешёл учиться в 239-ю математическую, лучшую тогда школу Ленинграда. Там я обнаружил непривычно тёплую атмосферу, эрудированных и способных, порой талантливых учеников, выдающихся учителей, клубы, диспуты, походы. В этой школе я избавился от комплекса «гадкого утёнка». Появились созвучные друзья, круг чтения расширился и углубился. Я и сейчас иногда по разговору могу угадать выпускника 239-й школы.

Евреев и полуевреев у нас училось немало, и поэтому еврейские проблемы обсуждались почти открыто. Я помню, например, как мы с товарищем, Давидом Лейбманом, изъявили желание подготовить вечер еврейской поэзии в школьном литературном

клубе «Алые паруса»<sup>1</sup>. Мы уже тогда знали, что есть Йехуда ха-Леви, Хаим-Нахман Бялик, Перец Маркиш. Руководитель клуба, учительница русского языка и литературы Ида Ильинична Славина, отца которой расстреляли при Сталине, прямо не запретила, но всё же деликатно предотвратила осуществление этой затеи.

Помню ещё, как в девятом классе я вызвался на уроке географии делать доклад об Израиле. В своём докладе я защищал Израиль, а арабские страны называл агрессорами. Учительнице, видимо, не понравилась моя позиция, но она поставила мне всё же четвёрку, не рискнув ссориться с классом.

Когда мы сдавали выпускные экзамены, готовиться к ним было совсем некогда, так как началась Шестидневная война. Помню, как мой товарищ, слушавший «голоса», в день какого-то экзамена прокричал мне через два лестничных марша: «Наши на Синае». Наше раздвоенное самосознание хорошо передаётся ходившим тогда анекдотом: «Хаим, ты слышал, как наши дали нашим на Синае?».

Окончив школу, я поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. В момент поступления мне было известно, что, скажем, на физфак ЛГУ евреи не берут, а на физмех ЛПИ попасть пока ещё можно. Правда, распределять нас на работу в 1973 г. институту было уже очень трудно. Времена изменились к худшему, а процент евреев среди выпускников был всё ещё высок<sup>2</sup>.

Наша студенческая жизнь была богата еврейскими событиями. В первом же семестре кто-то передал лектору истории КПСС записку, в которой оправдывались действия Израиля в Шестиднев-

---

<sup>1</sup> По странной случайности, наши клубные литературные вечера проходили по пятницам, когда верующие евреи встречают субботу. По другой случайности в капитаны (председатели) «Алых парусов» избирались только евреи или полуевреи. Не случайным было то, что главным нашим интересом была русская литература.

<sup>2</sup> Если бы не мой тесть, полковник юстиции в отставке, я и моя тогдашняя жена Тая со своим красным дипломом могли легко остаться безработными. Тестю пришлось надеть поеденный молью мундир с орденом Красного Знамени и поехать в Москву на прием к заместителю председателя Военной коллегии Верховного суда СССР — его бывшему подчинённому. Только тогда проблема трудоустройства двух выпускников физмеха была решена.

ной войне. Подписали: «Французы из Палестины». Лектор не осмелился ни ответить на эту записку, ни даже зачитать её вслух в нашем насыщенном еврейми мехпотоке, а предпочёл физпоток, где было больше студентов из провинции, но и там ему не дали говорить. Потом на доске кто-то написал: «Французам из Палестины зарегистрироваться в профкоме».

У нас на потоке учился студент Веня Гросман, имевший дядю в Риге, откуда кое-кого уже начали выпускать в Израиль. Веня входил в сионистские круги Ленинграда. Он привлёк меня, ещё пару студентов физмеха и двух девушек из Кишинева к изучению иврита. Я согласился не ради отъезда (я бы не отважился тогда рискнуть институтом, боялся оказаться в армии), а потому, что считал, что еврей должен знать свой язык и свою культуру. К тому же мне приглянулась одна из девушек. Пару раз нас приглашали на чьи-то квартиры для просмотра слайдов с видами Израиля (их комментировал кто-то из старших), на празднование еврейских праздников. На уроки малой группы я какое-то время ходил, на просмотр слайдов (там выключали свет) — тоже, а на праздники избегал, боясь засветиться. На собраниях не принято было называть фамилии, но я даже имена не запомнил.

Иврит изучали по учебнику «Элеф милим» (тысяча слов), размноженному фотоспособом. Качество печати было низким: видимо, сэкономили химикаты. Ещё нам давали читать «Экзодус» Леона Юриса, «Фельетоны» Жаботинского и ещё что-то. Вскоре я перестал делать домашние задания, отстал от группы и перестал ходить. Не было достаточной мотивации: ведь уезжать в Израиль я тогда не собирался, вообще не умел ещё принимать серьёзных решений.

Как-то в июне 1970 г. мне позвонили, и незнакомый голос посоветовал «убрать всё из дома». На следующий день я узнал об аресте «самолетчиков»<sup>1</sup> и понял, что это связано. Прятать мне

---

<sup>1</sup> «Самолетное дело». Поскольку число евреев, безуспешно добивавшихся права на выезд в Израиль, намного превышало число тех, кто получал разрешение, группа рижан и ленинградцев во главе с Эдуардом Кузнецовым и Марком Дымшицем решила на угон малого пассажирского самолета из Ленинграда в Швецию. Комитет ленинградской сионистской организации после колебаний отверг план угона как нереальный и губительный для сионистского движения. Однако операция под кодовым названием «Свадьба» все же была подготовлена и начата. Утром 15 июня 1970 г. в ленинградском аэропорту «Смольное» и в При-

было почти нечего, но на всякий случай я унёс к своей будущей жене учебник иврита и какие-то тетрадки, которые жалко было уничтожать.

Как я позднее понял, Веня Гросман не назвал моей фамилии на допросах в КГБ, куда его вызывали неоднократно. Поэтому меня не тронули. Однако тех студентов нашей кафедры, которые ходили на праздники и которых засёк стукач, «клеямили» на комсомольском собрании параллельной группы (там до того учился и Веня). Среди студентов у них нашлись защитники, но их всё равно исключили из комсомола и выгнали из института. Выгнали по ошибке и ни в чем не замешанного Якова Бейлина, женатого на русской. Его спутали с другим Яшей (Лурье) из соседней группы, который не пострадал.

Вообще мне везло. Годом раньше я был в «интернациональном» студенческом строительном отряде в Выборге, где вместе с Лёней Гозманом выступил на собрании против комиссара отряда. В отместку тот выгнал нас из отряда и написал донос в комитет комсомола ЛПИ о том, что мы с Гозманом возглавляли «сионистскую группу» в отряде. Ничего хуже он выдумать не мог. К счастью, нашёлся порядочный человек, который вынул листок с доносом из отрядного отчета, а то я бы не доучился.

Через пятнадцать лет, когда я уже вёл себя совершенно иначе, курировавший меня кагебешник (по-моему, капитан Масленников) как-то проронил: «Откуда Вы взялись? Ведь мы проверяли; на Вас за прошлые годы ничего нет».

Интерес к еврейской культуре не пропал у меня и после окончания учёбы в институте. Читал всё, что мог достать. Со своей школьной компанией мы иногда отмечали Песах, ставили мацу на стол, читали кое-что из пасхальной Агады, но дальше этого

---

озерске, месте промежуточной посадки самолета, все участники операции были схвачены силами госбезопасности. Одновременно были арестованы сионисты, не имевшие отношения к попытке угона. В десятках квартир были проведены обыски. Всего в Ленинграде, Риге и Кишиневе было предано суду 34 человека. Приговор, вынесенный «угонщикам» в декабре 1970 г., отличался необычайной суровостью, если учесть, что угон не состоялся и никто не пострадал. Дымшиц и Кузнецов были приговорены к расстрелу, остальные — к длительным срокам заключения. Только международная волна протестов заставила власти заменить смертные приговоры на пятнадцатилетние сроки заключения.

дело не шло. Логичность отъезда из СССР как будто всегда была понятна каждому из нас, однако инфантилизм характера, выпестованный тепличной атмосферой элитарной школы, долго мешал мне предпринимать конкретные решительные шаги. Только под занавес массового отъезда, в конце 1979 г. я отнёс, наконец, свои документы в ОВИР. Если бы мне тогда сразу дали разрешение, я поехал бы в США.

Годы отказа совершенно изменили мой взгляд на мир и на моё место в нём. Никогда не будучи чуждым еврейству, я в эти годы впервые серьёзно задумался над судьбами своего народа и полностью посвятил себя еврейским делам.

Новая жизнь началась для меня на нелегальных исторических семинарах Льва Утевского [см. ниже его статью. — *Н.Ю.*] и Григория Кановича. Качество лекций было высоким, а сам факт их существования — беспрецедентным. Десятки людей каждое воскресенье собирались вечером на маленьких частных квартирах, часами сидели и стояли в тесноте, рискуя быть задержанными милицией. Лекции давали нам знания, а мужественное поведение лекторов служило примером. Не случайно большинство ленинградских еврейских активистов восьмидесятых годов вышли из этих семинаров.

Когда Утевский и Канович уехали в 1980–1981 гг. в Израиль, возникла проблема их замены. Давление властей на семинары и другие формы еврейской жизни резко усилилось, но всё же под руководством Якова Городецкого и Григория Вассермана они еще некоторое время продолжали существовать. Лекции Вассермана были посвящены религии, а я заменил Кановича, начав выступать с докладами по истории евреев России. Всем было ясно, что эра массовых собраний кончается. Стало трудно, в частности, находить квартиры для проведения лекций, так как КГБ запугивал хозяев. Именно тогда мне пришлось в голову водить экскурсии по местам, связанным с еврейской историей города. Во-первых, не требовалась квартира. Во-вторых, это была удобная возможность в чрезвычайно доступной форме, через конкретные события излагать новичкам все главные проблемы, с которыми евреи сталкивались в течение своей истории в *галуте* (изгнании). В-третьих, участие в трёхчасовой лекции на еврейские темы, проходившей

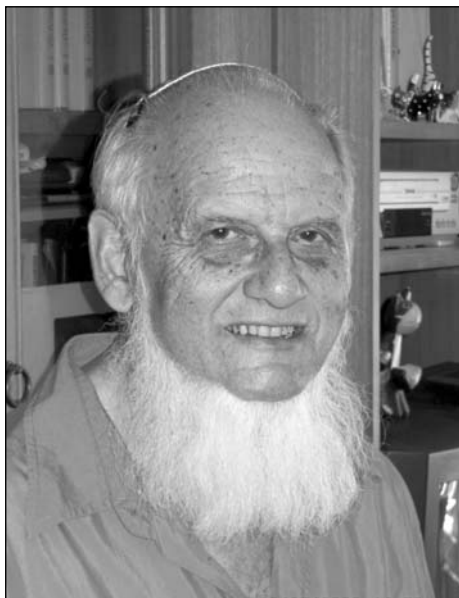


на улице (иногда это был Невский проспект), придавало людям ощущение преодоления типичного для советского человека страха перед участием в любой форме несанкционированного сверху публичного действия. В конечном счёте, это повышало чувство собственного достоинства слушателей, от чего, как известно, до сионизма один шаг.

Когда популярность моих экскурсий возросла, власти устроили на них облаву, и я был вынужден отказаться от этого занятия. Правда, к тому времени родилась уже другая форма — регулярный семинар по еврейской истории и культуре, предназначенный для подготовки тех, кто хотел заниматься серьёзной исследовательской работой и / или преподаванием еврейской истории. Семинар просуществовал благополучно пять лет, его организацию и поддержание я считаю своим главным делом в годы отказа.

Что касается экскурсий, то я решил их записывать и публиковать по частям в самиздатском журнале «Ленинградский еврейский альманах» (ЛЕА), в редакцию которого (вместе с Юрой Колкером и Сеней Фрумкиным) я вошёл с начала 1984 г. С этого момента до моего отъезда в мае 1987 г. вышло десять номеров альманаха, который был в те годы единственным самиздатским органом в России и одновременно первым еврейским периодическим изданием в Ленинграде после 1930-го года.

Вокруг семинара постепенно образовалась компания друзей, в которую входила и молодёжь, и некоторые старые активисты. С их участием стало возможно организовать что угодно, от лекции до *турим-шпиля*, от журнала до митинга памяти жертвам Холокоста. По-своему это были счастливые годы. Несмотря на вечное напряжение и ожидание неприятностей в любой момент, неустроенный быт и не всегда крепкое здоровье, у меня хватало энергии на всё, так как впервые в жизни я видел смысл того, что делаю, и результаты своего труда. Мы явно влияли на сознание людей. Личный опыт вступил в конфликт с постулатом исторического материализма о незначительности роли личности в истории. Осознание факта, что можно влиять на ход событий, неизменно придавало мне силы.



## Лев УТЕВСКИЙ

Лев Евгеньевич Утевский родился в 1935 г. в Ленинграде. Специалист в области технологии полимерных изделий. В 1957–1959 гг. работал в ЦНИИБ (Центральный научно-исследовательский институт бумажной промышленности), в 1959–1980 гг. — в Ленинградском филиале ВНИИВ (Всесоюзный научно-исследовательский институт искусственных волокон).

С середины 1960-х годов читал лекции на религиозно-исторические темы для небольших компаний знакомых и работал над иллюстрированием книг. Работы иногда демонстрировались на квартирных выставках.

В 1979–1980 гг. активно участвовал в деятельности неофициального еврейского семинара, читая лекции по иудаизму и еврейской истории.

С 1980 г. — в Израиле. Работал в Беэр-Шевском университете и в лаборатории огнестойких пластмасс фирмы «Соединения Брома».

В 1981–1987 гг. активно сотрудничал с израильскими, европейскими и американскими организациями, выступавшими в защиту советских евреев.

С 2000 г. — пенсионер, продолжающий заниматься иллюстрированием Библии и чтением лекций по еврейской истории и иудаизму. Иллюстрации к Библии представлены в четырех книгах.

*(Впервые публикуемая ниже статья была передана мне автором во время моего выступления в Русской библиотеке Иерусалима 6 января 2008 г. — Н.Ю.).*

## МОЁ ЕВРЕЙСТВО

*Признаться в своём еврействе можно двумя способами. Первый из них подразумевает, что я не виновен в том, что я еврей, и если бы мог, от этого бы избавился. Но можно положить ту же песню на другую мелодию — объявить, что я получил своё еврейство по наследству и отнюдь не собираюсь от него отказываться.*

Интервью рава Адина Штейнзальца // Окна. 2004. 23 дек.

*Я думаю, что национальность — это лишняя забота. Это, так скажем, сотая забота, сто пятая, сто десятая. А мы её часто делаем первой или второй».*

Интервью Александра Кушнера // Калейдоскоп. 1992. 20 марта.

Зачем я пытаюсь вспомнить дела давно минувших дней?

Может быть, чтобы самому понять, как это мне, родившемуся в СССР, посчастливилось не только противостоять советской пропаганде, но и в этом противостоянии не стать диссидентом-интернационалистом, русским патриотом-антисоветчиком, гражданином вселенной, йогом или вообще сделать национальностью специальностью или хобби — все эти варианты я встречал среди знакомых евреев, отодвинувших своё еврейство на задний план.

А может быть, излагаю для потомства. Всё время вспоминаются слова Изи Когана (бывшего отказника и еврейского религиозного активиста, ныне раввина в Москве ) во время нашего

короткого разговора в 1999 г.: «Мой внук уже не понимает того, что с нами было».

Есть ещё одна причина написания этого текста. Последнее время слишком громкими стали голоса, вопящие о том, что евреи из России — люди русской культуры.

Когда я прочёл, что израильская гражданка и писательница Дина Рубина считает, что издание «Иерусалимского журнала» стало возможным там, где есть «русскоговорящие, русскодумающие и русскочувствующие люди» (Еврейский камертон. 2003 10 апр. С. 21), я не мог не спросить себя: «А что же остаётся еврейского у людей, думающих и чувствующих по-русски?».

Самое смешное, что в самой России русская национальная идея переживает не лучшие времена. Вот как описывает это Н.В. Юхнёва, известный Санкт-Петербургский этнограф, в статье, подытоживающей четырёхмесячную дискуссию о национальной идее: «В течение многих советских десятилетий табуированным было слово еврей. Теперь подобная судьба постигла имя русских. Его заменяют словами россиянин, русскоязычный. <...> Разве что евреи (особенно наши соотечественники в Израиле) не стесняются называть русских (и даже самих себя) русскими» (Литературная газета. 2004. № 43 (5994). Н.В. Юхнёва поддерживает принцип, выраженный одним из участников дискуссии, А. Мелиховым «Не одолевать других, а сохранять себя <...> ради продолжения русских грёз, русского языка и всех порождённых ими ценностей».

Этот же принцип можно и нужно применить к еврейской национальной идее — ради продолжения еврейских грёз, еврейского языка и всех порождённых ими ценностей. Однако при этом надо учитывать одно очень существенное обстоятельство: нападки на русскую национальную идею угрожают упадком, извращением и замедлением развития русских национальных ценностей, но не гибелью гигантского русского народа. Иначе обстоит дело с евреями, которым просто-напросто угрожает ассимиляция, т.е. растворение в тех народах, среди которых они живут.

Как показывает исторический опыт, подобная ассимиляция часто приводит к отторжению ассимилированных евреев ассимилирующим их народом в более или менее жёсткой форме. Но этот опыт ничему не учит следующие поколения евреев, рвущихся

быть ассимилированными. Стоит отметить, что попытки связать эту ассимиляцию исключительно со смешанными браками кажутся мне примитивными и несоответствующими действительности. Во всяком случае, я встречал достаточно много «чистокровных» евреев, рвущихся в русский или украинский народ, и ещё больше детей этих самых смешанных браков, добровольно выбравших еврейство.

Похоже, что русификация евреев в России с помощью подавления каких бы то ни было проявлений еврейства, с помощью максимально возможной изоляции от внешних влияний и, наконец, с помощью интенсивного внедрения русской культуры, объявленной самой великой, благородной, духовной и т.п., оказалась очень успешной.

Между тем тот невежественный еврейский национализм, который пышным цветом расцвёл в русскоязычной израильской прессе, лишь толкает думающих евреев в сторону духовной ассимиляции в русской культуре.

Всё это заставляет меня показать на личном примере, что возможны и другие варианты развития.

Надо отметить, что при чётком ощущении своего еврейства религиозности в нашей семье не было. Мой дед Гиршель-Монус Лейбович Утевский, родившийся в Пирытине, очень хотел стать врачом, но процентная норма для евреев в Петербургском университете позволила ему поступить только на биологический факультет, куда, видимо, евреи в те времена не стремились. Дед его благополучно закончил, а тут как раз началась русско-японская война, на которую он пошёл добровольцем-фельдшером. Воевал он, видимо, хорошо, так как получил какой-то крестик, дававший ему право поступления сверх процентной нормы, которым он и воспользовался и стал достаточно известным детским врачом, что в свою очередь давало ему право жить в Петербурге.

Я не знаю, когда и как дедушка познакомился с бабушкой Анной Яковлевной Болоховской (кажется, из киевской семьи). В 1910 г. они уже жили в собственном двухэтажном доме на Крестовском острове. В том же году у них родился единственный сын, которого они называли Евгением. Он учился в «Петершколе», а потом (уже после революции) пытался поступить на экономический

факультет университета, но этому помешало уже не еврейство, а социальное происхождение — он был сыном частнопрактикующего врача. Мне рассказывали, что дедушка даже пытался работать в поликлинике, но не мог. Он растерянно говорил: «Как я могу планировать число больных в день? А если придёт один, но интересный?». Так что отцу пришлось сначала окончить юридический факультет, на который, видимо, мало кто хотел идти, так что годился и сын частника, а потом уже экономический.

Начало войны отец встретил кандидатом экономических наук и деканом факультета городского хозяйства в Институте им. Плеханова. Этот статус давал ему так называемую бронь, т.е. освобождение от призыва в армию; но отец пошёл добровольцем и погиб в 1943 г.

История семьи моей мамы совсем другая. Её родители Борух Тамаркин и Тауба Лифшиц и множество детей жили на хуторе Самодумки в Оршанской губернии, где дед сначала содержал корчму, потом был лесничим у князя Белосельского, а после революции вроде бы даже возглавлял сельскохозяйственную комму-ну. По рассказам мамы, богатыми они никогда не были, но когда бабушке потребовалось показать петербургскому врачу младшего сына Зусю, деньги на это нашлись, хотя ехать ей пришлось тайно и незаконно, так как по российским законам находиться там она не имела права. Пожалуй, единственное, что было общим для обеих семей моих родителей, — это хорошие отношения с нееврейским окружением.

Я встречал на Крестовском острове старушек, говоривших мне: «Ваш дедушка меня спас, когда я была маленькой», и слышал от бабушки Тани (Таубы) рассказы о том уважении, которым пользовалась среди белорусских крестьян её мать, происходившая из почтенной еврейской семьи Магарил и наделённая даром находить заблудившуюся скотину. По словам бабушки, выглядело это так: приходил мужик с соседнего хутора и жаловался, что пропала корова, а прабабушка ему говорила, где именно в лесу эту корову искать.

Любовь к Белоруссии мама сохранила, и мы обычно выезжали на дачу в Богушевское неподалёку от Витебска, где и встретили

войну. Впоследствии мама рассказывала, что, когда мы уезжали в Витебск, на другом конце Богушевского уже появились немцы.

Мне запомнилась бомбежка в Витебске, когда мама загнала меня под стол, что показалось мне, шестилетнему, очень интересной игрой. Когда же мы добрались до Ленинграда, было решено, что мы с мамой переедем в Лесное, так как там было хорошее бомбоубежище, а на Крестовском не было. Бомбоубежище, действительно, было основательным, так что когда разбомбили находившийся над ним дом, то мы и другие люди, бывшие в этом бомбоубежище, не пострадали, а просто вынуждены были сидеть в темноте и ждать, пока не откопают. По словам мамы, я этой темноте очень радовался и предлагал рассказывать страшные сказки. Вообще бомбили Лесное часто, так как рядом были какие-то военные объекты, и я помню, как, придя домой из бомбоубежища, я обнаружил на своей кровати большой осколок бомбы, отливавший красивым синим цветом и горячий на ощупь.

У меня не осталось ощущения голода, хотя на всю последующую жизнь сохранилась уверенность, что котлеты из жмыха чудо как вкусны. Наверное, дело ещё и в том, что к зиме я умудрился заболеть скарлатиной, есть поэтому не хотелось. Впоследствии мама рассказывала потрясшую меня историю, как, вернувшись из госпиталя, в котором работала санитаркой, она столкнулась с нашим соседом по квартире, стареньким профессором, который извинялся и пытался ей что-то объяснить. Понять его было трудно, так как он был истощён и его зубные протезы не очень плотно прилегали к дёснам. Единственное, что ей удалось уловить, были слова «Лёвушка» и «съел». Тогда по Ленинграду уже ходили слухи о людоедстве, так что можно представить ужас матери, которой она испытала, пока ей не удалось понять, что профессор извинялся за то, что подлизал остатки сахарного песка с блюдечка, которое мать, уходя в госпиталь, оставила мне.

В конце марта — начале апреля я был уже без сознания, и мать, завернув меня в ковёр, везла на санках через весь Ленинград к тому месту, откуда шли автобусы по «Дороге жизни», т.е. по льду Ладожского озера. Эту дорогу немцы бомбили, и из пробитых прорубей выступала вода. Я помню, как, очнувшись, я очень удивился тому, что автобус едет по воде как корабль.

Потом были переезды, завершившиеся в деревне Большая Грибановка Воронежской области, где мы и встретили Победу и осенью 1945 г. вернулись в Ленинград.

О войне я имел, как и все, сугубо парадно-героическое представление. Уже взрослым, прочитав Бакланова и Быкова и приняв более реалистическое представление о войне, я не без удивления слушал моего дядю Зуся, того самого, которого его мать ребёнком тайно возила в Петербург показать врачу и который, выросши, стал офицером и отвоевал две войны, финскую и Отечественную. В книжке об обороне Ленинграда среди прочего сообщалось о том, как старший лейтенант Зусман Борисович Тамаркин оставил наших солдат, убежавших от немцев, автоматной очередью поверх голов. Дядя Зуся, которому я прочёл это, грустно сказал: «Как будто у меня была возможность стрелять поверх голов <...>; ещё мгновенье — и они бы меня смяли».

Когда мне было лет восемь или девять, в той же Большой Грибановке я впервые столкнулся не то чтобы с антисемитизмом, но с некоторой неприязнью к евреям. Я спросил у мамы, за что нас не любят, и она сказала, что это потому, что мы умнее других. Мне это объяснение понравилось. К тому времени я уже стал книжным ребёнком и взахлёб читал всё, что попадалось: от «Спутника меломана», в котором излагались либретто наиболее известных опер, до поэм Байрона. Это чтение способствовало формированию детского романтизма, и когда в школе мы учили «Смерть поэта» Лермонтова, я воспринял строчки «Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы» как некий личный девиз.

Этот девиз несколько трансформировался, когда в 16 лет я открыл для себя Киплинга и среди прочего прочёл «Мировую с медведем». Рефрен этого стихотворения «не заключайте мировой с медведем, что ходит как мы», пожалуй, выражал ту настороженную опасливость, с которой я воспринимал русский народ и русскую культуру.

Вообще говоря, даже сейчас мне трудно понять, что заставило русскую культуру сделать медведя символом «русскости». Главное отличие медведя от таких не менее опасных хищников, как лев или тигр, в том, что у него практически отсутствует система предупреждения. Об этой системе у кошек и собак, включающей



изменение выражения морды, угрожающие движения и звуки, много писал Конрад Лоренц. В отличие от них медведь ничем не показывает того, что через мгновение он может наброситься на человека, и поэтому дрессировщики считают его самым опасным хищником.

Этот эмоциональный настрой менялся по мере взросления, но настроение отчуждённости оставалось, не мешая ни удовольствию от русской литературы, истории, живописи, музыки и т.п., ни моей дружбе с русскими людьми, которые об этой отчуждённости знали и относились к ней с уважением.

Я никогда не был русофобом; но всегда решительно отвергал российские имперские претензии как в области политики, так и в области культуры.

Эта отстранённость спасла меня тогда от участия в кружках, мечтавших о придании российской власти человеческого лица. В один такой кружок меня даже приглашали в середине 1950-х годов, на что я сказал, что считаю бессмысленным добавлять еврейскую кровь в русскую кашу. Забавно, что это заявление заработало мне тогда совершенно незаслуженную репутацию сиониста.

*Но я, понимаешь, еврей. А евреям Библию за так дали. Она в нас растворена, а мы в ней... Поэтому, когда мне её предъявили в один ответственный момент, оказалось, что я и она — одно.*

Улицкая Л. Казус Кукоцкого

Пожалуй, именно сейчас я особенно остро чувствую разницу между освоением чужой культуры и растворением в ней. Символом этого освоения для меня являются слова кодификатора Мишны раби Йегуды-га-Наси: «Зачем говорить по-сирийски в Эрец-Исраэль? Говорите либо на иврите, либо по-гречески». А ведь это было сказано тогда, когда всё Средиземноморье от гордящихся своей древностью египтян и до властителей мира римлян готовы были пожертвовать своей культурой ради эллинизма. Но это я понял сейчас, а тогда, много десятков лет тому назад, я не столько понимал это, сколько просто чувствовал необходимость некоторого отстранения от окружавшей меня русскости.

На моем пути к еврейству огромную роль сыграло чтение книг, сбережённых бабушкой Анной Яковлевной во время блокады и не выброшенных ни ею, ни мамой в те времена, когда такие книги в доме могли стать основанием для посадки в тюрьму. Это не преувеличение: хороший знакомый нашей семьи был посажен в начале 1950-х годов за «хранение и распространение», в качестве доказательства коего существенную роль играла изданная до революции Еврейская энциклопедия. Эта энциклопедия была и у нас, а также «История евреев» Греца, Ренан и уж не помню что ещё.

Воображаю, как страшно было этим двум вдовам (дед не выдержал тягот блокады, а отец погиб на войне), для которых я был единственным светом в окошке, и всё-таки они не выкинули эти опасные книги.

А начиналось моё увлечение еврейством с «Иудейской войны» Фейхтвангера, вызвавшей в 16 лет желание (естественно, не осуществившееся) писать пьесу о Бар Гиоре. Всё это происходило на фоне интенсивного чтения книг по истории вообще и формирования интереса к истории религии в частности. Одним из результатов этого интереса к истории явилось ощущение причастности к этой истории, восприятие себя как части истории.

Значительно позднее распространённость такого восприятия приятно поразила меня во время поездки в Армению, где в первый же вечер я с удивлением и радостью обнаружил на стенке крохотной комнатки швейцара дешёвого ереванского отеля карту Армении времён Тиграна Великого(2-й век до н.э.).

В провинциальном Ехегнадзоре за бутылкой водки бывший зэк, покрытый шрамами и татуировкой, доказывал мне, что князь Восточной Армении Васак, принявший сторону персов во время восстания армян (5-й век н.э.), был не предателем (как принято считать), а мудрым политиком, заботившимся о благе жителей своего княжества.

Партийно-хозяйственный деятель в Ереване (знакомый нашей ленинградской приятельницы) совершенно потряс меня ответом на вопрос об отношениях с грузинами, сказав: «А что нам делить? Они коммунисты, и мы коммунисты; они христиане, и мы христиане». Последнее, естественно, сопровождалось гордым заявлением, что христианство они приняли на шесть столетий раньше русских.

Когда я спросил случайно встреченного армянина-кинооператора, почему при такой богатой и любимой народом истории в Армении так мало фильмов об этой истории, он ответил, что это политика Москвы, не желающей задевать тех, против кого боролись армяне. Он же познакомил меня с необычной армянской колыбельной. В отличие от большинства колыбельных, в которых ребёнка уговаривают заснуть, эта начиналась словами: «Проснись, сынок! Твой отец и дед убиты турками; ты последний мужчина в семье/ <...> Турки идут — проснись, сынок»/

Естественно, что популярное в Израиле пренебрежительное выражение «ну, это уже история» до сих пор вызывает у меня раздражение.

Забавно, что «Библию» (православное издание!) я увидел значительно позднее в доме друзей и что самое сильное впечатление произвела на меня книга «Экклезиаст». Было это в начале 1960-х годов, когда православное издание Библии можно было купить, если были соответствующие связи с продавщицами, но, разумеется, не как Библию, а как иллюстрации Дорэ. Они показались мне совершенно несоответствующей духу текста бытовщиной, и тогда же возникло желание иллюстрировать Библию самому. Желание это осталось у меня до сих пор, и я в какой-то мере осуществил его в книгах своих иллюстраций к Библии. При этом я никогда не ограничивал себя иллюстрированием только Библии. Я сделал много иллюстраций, главным образом, к стихам, в том числе две большие серии иллюстраций к Хайяму и Вийону.

Чтение Библии, в особенности пророческих книг, помогло мне окончательно расстаться с детской верой в интеллектуальные преимущества евреев перед другими народами. Впрочем, значительную роль в этом изменении сыграл и жизненный опыт. Особенно меня стали раздражать восторги по поводу еврейской гениальности, подтверждаемой подсчётами числа нобелевских, ленинских и сталинских лауреатов с помощью пальцев рук и ног. При этом для восторгающихся и подсчитывающих вопрос о том, играло ли в духовной жизни этих лауреатов какую-то роль их еврейство или оно было для них лишь несущественной или даже досадной подробностью, как правило, не рассматривался.

Не менее противно было слушать рассуждения о чистоте еврейской крови. В этих случаях я с особенным удовольствием цитировал пророка Йехезкеля (Иезекиила): «Отец твой был эморей, а мать твоя была хеттеянка» (Йехезкель 16: 3).

Именно тогда у меня начало складываться ощущение деградации той части еврейского народа, которая жила в СССР, и необходимости его спасения из разъедающей российской среды.

Примерно тогда же я с интересом прочёл несколько книг о происхождении христианства (в том числе прекрасную книгу Робертсона), но христианство показалось мне чуждым и совершенно неприемлемым. Тем не менее я с радостью воспринимал искры иудаизма, пробивавшиеся через христианство и не очень им изуродованные — будь то «Созерцание» Рильке или спиричуэлс американских негров.

С последними произошла следующая запомнившаяся мне история. Как завлаб, я обязан был ходить на демонстрации и выводить максимальное количество вверенных мне сотрудников. На демонстрациях этих главным образом пили и пели. Так вот на одной из них я грустно сказал своему подчинённому с недвусмысленной фамилией Коган что-то в том смысле, что, дескать, чужие песни поём. В ответ он улыбнулся и запел: «When Israel was in Egyptland», а я подпевал в меру своих скромных вокальных возможностей.

Это, однако, не помешало мне обратиться к одной даме полунегритянке-полуеврейке с бестактными и глупыми словами, что вот, дескать, Ваши предки рабы пели, а наши предки во время Вавилонского пленения петь отказались и даже процитировал «Как нам петь песнь Господа на чужой земле».

Вообще моя вера в Бога развивалась очень медленно из потребности в каком-то организующем начале миропорядка (идея случайного сочетания событий мне была всегда чужда) и восторга по поводу заботы Бога о каждом даже самом малом существе. Это чувство восторга родили во мне прежде всего стихи Киплинга: «Мы знали: держит палец на нашем штурвале Бог»; «И Бог, посылающий ветер и ломающий айсберга лёд, слышит, как плачет лисёнок в снегу и буря во мраке ревет» и т.п. Чего совершенно не было — это желания обращать кого бы то ни было «в свою веру» — может быть, потому, что вера эта была скорее чувством,

нежели доктриной. Наверное, по той же причине я так и не смог понять смысл фразы, услышанной много лет позже и удивительно популярной среди русскоязычной публики Израила: «Я человек нерелигиозный, но к религии отношусь с уважением».

Эта фраза ассоциируется у меня с историей, услышанной в больнице, куда я попал с аппендицитом в те же 1960-е годы. Рассказчик повествовал о жене приятеля, отличавшейся (по мнению их компании) сексуальной доступностью, активностью и изобретательностью. Муж этой дамы в подпитии жаловался приятелям на то, что жена его в постели бревно-бревном. В конце концов один из приятелей мужа, пользовавшихся благосклонностью дамы, попросил её разъяснить, в чём дело, и услышал: «Я его (т.е. мужа) уважаю».

В те же годы возникло у меня желание, поддержанное несколькими друзьями, организовать нечто вроде кружка по изучению истории и религии. Было даже прочитано несколько лекций: о ранних формах религии, Древнем Египте, Двуречье, маздаизме и даже одна или две об иудаизме. Все лекции носили характер ликбеза, но сформировали у меня некий вкус к лекторству — удовольствие от своей способности передавать знания.

Это желание передавать знания другим, которое одна моя знакомая впоследствии определила как «комплекс недоеной королевы», необязательно выразалось в области еврейских знаний. Так, в конце 1960-х годов я прочёл сотрудникам своей лаборатории такие лекции, как «Выдающиеся женщины древности», «История Африки», «Художник Альбрехт Дюрер», а несколько позже компании молодых туристов из Киева во время лыжного похода в Карпатах даже две-три лекции по русской истории.

*Каждый год дракон выбирает себе девушку... И мы больше никогда не видим её. Говорят, что они умирают... от омерзения.*

Евгений Шварц

*Доколе не придём туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу.*

Исход

Играл ли антисемитизм определяющую роль в формировании моего еврейского самосознания? Мне кажется, что нет. Разумеется, он создавал какой-то эмоциональный настрой; но достаточно рано детские и юношеские обиды (а они были и воспринимались достаточно остро) переросли в убеждение, что антисемитизм — нееврейская проблема, что для евреев это нечто вроде стихийного бедствия или скорее даже плохой погоды.

Кстати, эта враждебная стихия заставила меня продолжить семейную традицию окончания двух вузов: в 1952 г. (!) я нагло сунулся со своей золотой медалькой на химфак Ленинградского университета, но был отвергнут. На собеседовании, которое все медалисты были обязаны проходить, меня сначала слегка погоняли по школьному курсу химии, потом стали задавать вопросы из истории русской химии. Я ответил на все эти вопросы к их и моему удивлению. Тогда они сказали, что советский химик должен быть всесторонне развитым человеком, и стали задавать вопросы по русской и советской литературе. Я и на эти вопросы ответил и был отвергнут. При этом мне было сказано, что приёмная комиссия рекомендует мне поступать не на химфак, а на какой-либо гуманитарный факультет. Изложить эту рекомендацию письменно они, естественно, отказались.

Сейчас мне всё это вспоминается как ещё один смешной пример советского идиотизма, но тогда было не до смеха. Я помню, как моя мама ходила в университет качать права, взяв с собою нашего родственника Аарона Евелевича Утевского, офицера и ветерана войны, и как потом она плакала в коридоре. В конце концов я поступил в Лесотехническую академию, где встретил ещё несколько таких же отвергнутых евреев-медалистов.

В 1957 г. я получил диплом инженера по специальности «Технология целлюлозно-бумажного производства», а ещё через два года, отучившись заочно, получил второй диплом по специальности «Технология пластмасс». Перешёл на работу в только что созданную лабораторию нового синтетического волокна ((Ленинградский филиал Всесоюзного НИИ волокна). Защитил диссертацию в 1964 г., стал завлабом. В общем, преуспел.

Кроме того, я считал антисемитизм естественным свойством советской власти, относительно которой я достаточно рано пе-

рестал питать иллюзии. Эта власть воспринималась мною как естественное развитие российской культурной и политической традиции и нечто абсолютно мне чуждое.

Впрочем, понимание гнусности и чуждости советской власти не мешало мне в конкретных ситуациях этой гнусности удивляться и даже пытаться с ней бороться.

Примером такой борьбы была история моего противостояния двум партийным зубрам (кстати, оба были евреи) в том НИИ, в котором я проработал 15 лет. В 1969 г. на каком-то из совещаний я достаточно резко выступил против тогдашнего зам. директора по научной работе, и эти два зубра поспешили на его защиту, обрушившись на меня и лабораторию, которой я руководил. Один из них даже заявил, что из-за таких, как я, произошли события в Чехословакии. Видимо, они полагали, что такая критика из их партийных уст должна напугать меня, беспартийного еврея, а для них послужить свидетельством их лояльности вопреки их еврейству. Я же не напугался, а разозлился и подал жалобу на них в партком.

Сначала их просто ошеломила подобная наглость, а потом они начали действовать, наслав на мою лабораторию комиссию по проверке состояния идеологической работы. И тут произошло маленькое чудо: в лаборатории среди 20 сотрудников не нашлось ни одного, кто сказал что-либо, что можно было бы использовать против меня. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы в филиал не пришёл новый директор, желавший поставить этих (и всех прочих) зубров на место и показать, кто хозяин.

В результате было принято сугубо нейтральное решение, призывающее враждующие стороны примириться и дружно работать, расценённое сотрудниками моей лаборатории как победа над силами зла. А в процессе борьбы с упомянутыми силами профорг лаборатории (совершенно удивительная женщина, пришедшая к ощущению отвратительности советской системы своим умом и при этом не озлобившаяся) организовала такую общественную активность, что лаборатория завоевала первое место в соревновании к столетию Ленина. Более того, эта женщина сумела отвертеться от бюста Ленина, предложенного нашей лаборатории в качестве приза за первое место, напугав секретаря парткома воплем: «Да Вы что, хотите оскорбить память Владимира Ильича,

всунув его бюст в нашу жуткую тесноту?!». И, надвинувшись на секретаря (а надвигаться было чем), добавила: «Свой бюст девать некуда!». На робкий вопрос секретаря, о том, чего же она хочет, были затребованы (и получены!) деньги на поездку всего коллектива в Псков и на серию экскурсий по Эрмитажу.

В Псков нас сопровождал в качестве экскурсовода довольно известный ленинградский диссидент, свозивший нас по дороге в Псковско-Печерский монастырь и очень сочувственно излагавший историю борьбы настоятеля монастыря за возвращение вывезенных в Германию во время войны сокровищ непосредственно монастырю, а не советской власти.

Здесь уместно сказать, что мне вообще везло на русских людей, хорошо относившихся ко мне и к другим евреям не только и не столько из-за наших достоинств (реальных или кажущихся), сколько из-за отвращения к антисемитизму советской власти.

Этот государственный антисемитизм сочетал лицемерные заявления о равенстве всех наций с совершенно патологической юдофобией представителей власти. Мой русский друг, работавший в детской газете «Ленинские искры», рассказывал, что при выборе пионерки, которая должна была вручать цветы тогдашнему партийному секретарю Ленинграда Романову, особое внимание обращалось на то, чтобы в лице этой пионерки не проглядывали какие-либо еврейские черты. В моей лаборатории недолго работала лаборантка, рвавшаяся на пост освобождённого секретаря комсомольской организации нашего предприятия. Как-то я обнаружил её рыдающей, а потом от коллег узнал, что всё было на мази, но в последний момент её забраковали: кто-то из начальства усмотрел что-то еврейское в её лице. Бедная девица не могла вынести такого позора и ушла с нашего предприятия. Не исключено, что честные и разумные русские воспринимали всё это более болезненно, чем я, чувствуя себя в какой-то мере ответственными.

Должен признаться, что я испытывал какое-то странное чувство неудобства от вышеупомянутой победы над силами зла: видимо, смутно ощущал, что это не столько победа над силами зла, сколько разборки внутри этих самых сил. Сама мысль, что я как бы вместе с ними, была мне противна. Тем не менее я использовал эти самые разборки для осуществления моей и моих при-



ятелей-коллег голубой мечты — превращения созданной нами группы физико-химических исследований в самостоятельную лабораторию. Идея такого превращения рассматривалась администрацией как повышение научного статуса нашей организации. На пост заведующего этой лабораторией примеривался тогдашний партийный секретарь. Его высказывание: «А зачем нам рентгеноструктурные исследования; неужели нельзя эти фотографии в каком-нибудь ателье сделать?» так напугало моих сотрудников, что они возопили: «Чего ты ждёшь?! Иди к директору и объясни, что именно ты должен быть начальником этой лаборатории». Я пошёл и получил просимое; но ощущение какой-то «замаранности» оставалось, что не помешало мне, впрочем, получать большое удовольствие от этих самых физико-химических исследований. Мне и моим коллегам удалось убедить начальство, что для создания успешного технологического процесса надо знать физику и химию этого процесса, и это позволило поставить исследования, отвечавшие не только на вопрос, что делать; но и на вопрос, почему это надо делать.

Что же касается сионизма, то Израиль воспринимался довольно долго как нечто экзотическое, а с середины 1960-х годов, когда моя работа стала считаться секретной, и как нечто совершенно недостижимое. Восторг советских евреев по случаю победы Израиля в Шестидневной войне мне казался попыткой примазаться к чужим заслугам — тем более что иногда этот восторг принимал достаточно отталкивающие формы. Например, один наш знакомый еврей, числившийся белорусом по паспорту, в пьяном виде лез без очереди в такси с криком: «Наши в 50-и километрах от Дамаска!». Самое смешное — очередь не возражала, потрясённая то ли его нахальством, то ли победоносностью израильского оружия. Впрочем, эти настроения не помешали мне в 1968 г. по возвращении из байдарочного похода на Мургаб-Туркменский канал-Теджен, рассказывая о красоте пустыни, сказать жене: «Знаешь, Наташа, если когда-нибудь нам повезёт попасть в Израиль, мы будем жить в Беэр-Шеве».

Вообще поездка в Среднюю Азию дала мне много не только в плане эстетическом, но и в плане понимания того, что принято называть национальным самосознанием. За полтора месяца этой

поездки мы встретились с представителями более десятка национальностей, и для всех благожелательно-серьёзное отношение к вопросу национальной принадлежности оказалось характерным.

Особенно запомнились мне два случая. Плывя по Мургабу, мы остановились на ночь на межколхозном кладбище, где был похоронен какой-то мусульманский святой и куда свозили покойников со всех колхозов Мургабского оазиса. При кладбище было какое-то жильё для родственников покойных, в котором мы и ночевали. Принимала нас пожилая туркменская пара, следившая за кладбищем. Первое, что спросил меня старик, было: «Кто ты?» К тому времени я уже знал, что в тех краях этот вопрос означает «Кто ты по национальности?». Когда я ответил: «Я еврей», он, как подобает вежливому хозяину, желающему сказать что-то приятное гостю, произнёс: «Ты похож на еврея».

Второй случай был уже в городе Мары. На берегу Мургаба стоял туркмен — единственный пьяный, которого мы встретили за весь поход. Снова был задан вопрос: Кто ты?» Ответы моих спутников туркмена удовлетворили, а мне он не поверил, что я еврей. Посмотрев на меня подозрительно, он сказал: «Ты, наверное, таджик». Видимо, такое у него сложилось мнение из-за моей смуглой кожи, бритой головы и тубетейки, купленной в Бухаре. Дело в том, что многие таджики, жившие в Узбекистане, были записаны узбеками, что представителями других наций расценивалось как некое предательство, хотя впоследствии я слышал, что узбекские власти просто записывали живших в Узбекистане таджиков узбеками, не спрашивая их мнения.

Как бы там ни было, я продолжал настаивать, что я еврей, и даже предложил показать ему паспорт. Тут он, видимо, спохватился, что вроде бы оскорбляет незнакомого человека и, что ещё хуже, гостя, и поспешил сказать традиционно-вежливое «Ты похож на еврея». Более того, желая загладить свою подозрительность, он поспешил добавить «Ты, наверное, очень умный; ты, наверное, конструктор».

Много позже я прочёл у любимого мною Амоса Оза: «Я сын и внук людей, которые переехали в Эрец-Исраэль не потому, что тосковали по земле предков, и не потому, что хотели отнять эту землю у арабов и унижить арабов. Они переехали в Эрец Исра-

эль просто потому, что больше им некуда было деваться. Им со всех сторон и во всех странах угрожала смерть» (Новости недели. Семь дней. 2002. 26 марта. С. 8). И я ещё раз почувствовал, какой разной может быть мотивация людей, приезжающих в Израиль. Ничего подобного чувствам, описанным Озом, у меня не было. Я со смехом воспринимал модную в те времена шутку: «Уезжают смелые; остаются безумно смелые», но не ощущал страха перед будущим, связанного с тем, что я еврей. Были страхи по поводу того, что вот, дескать, подам на выезд в Израиль, а меня не выпустят, и придётся долгие годы в отказе сидеть, тем паче что тогдашняя моя «секретность» казалась мне (и не только мне, но и моим знакомым отказникам или людям, серьёзно готовящимся к отъезду) действительно серьёзным препятствием для выезда.

Самое смешное то, что нелепость советской секретности я имел возможность оценить ещё на заре своей карьеры. Я тогда работал в Центральном НИИ бумажной промышленности, где был из лаборатории переведён в отдел технической информации по причине хорошего знания английского и недостатка уважения к начальнице лаборатории. Во всяком случае, она именно так это формулировала: «Я смотрю на Вас и вижу, что Вы меня не уважаете». Прошло некоторое время, и меня вызвал к себе зав. этим отделом. Он зачем-то вывел меня в коридор и шепотом стал объяснять, что, хотя допуска у меня нет, он вынужден просить меня посмотреть некие сугубо секретные материалы, полученные «по спец. каналам». Я увидел плохие фотографии из какой-то книги на французском, которого я почти не знаю. Приглядевшись, я понял, что секретные материалы — это фотографии страниц из учебника проф. Непенина, по которому я учился, но переведённого на французский. Тут же я представил себе советского шпиона, который, рискуя жизнью, фотографирует русский учебник, переведённый на французский язык. Но делиться с начальником своими фантазиями не стал, а просто объяснил, что это за материалы. Потом, когда у меня появилась особая (вторая) форма допуска и я посещал всякие предприятия, занимавшиеся разработкой ракетной техники, я старался напоминать себе этот случай. И всё равно побаивался.

Страхи не найти себе применения в Израиле тоже были. Интересную и непропорциональную роль в преодолении этих стра-

хов сыграла передача Би-Би-Си, посвящённая войне Судного дня. В ней журналист обращал внимание на то, что отступая из Египта, израильская армия старается вывезти всю свою технику, включая повреждённые грузовики. «Ну, — подумал я, — уж если разбитые грузовики вывозят, может, и я на что-нибудь сгожусь».

Однако от этой мысли до решения попытаться выехать прошло ещё пять лет. Эти годы ушли не только на преодоление страха, хотя страх, несомненно, был.

Я видел, что советская власть может сделать с людьми, которые даже не выступали против неё, а лишь слегка отклонились от нечётко обозначенной генеральной линии этой власти, определяемой патологическим сочетанием страха и ненависти её представителей. Особенно наглядно это проявилось в истории моего друга Алёши Голдобина.

Алексей Михайлович Голдобин, ветеран войны, доцент ЛГУ, был серьёзным учёным-арабистом. Его приглашали быть переводчиком тех или иных арабских гостей СССР. Среди них бывал и Ясир Арафат, относительно которого Алёшу всегда предупреждали не переводить, если Арафат будет произносить свою любимую фразу: «Мы боремся не только за исправление несправедливости 67-го года, но и за исправление несправедливости 48-го года». Это требование объяснялось так: «Не надо лить воду на мельницу сионистов и их пособников».

Голдобин преподавал в университете, готовил к защите докторскую диссертацию о египетской прессе и регулярно читал лекции в «Обществе по распространению политических и научных знаний». Лектор он был блестящий, и слушатели буквально засыпали его записками. Иногда после лекций к нему подходили люди в штатском и просили показать те записки, которые он не оглашал. Алеша, как мог, уклонялся от этого, заявляя, что он эти записки выбрасывает в унитаз сразу после лекции. На одной из этих лекций он процитировал французский журнал, находившийся в открытом доступе в Публичной библиотеке, в котором приводились данные о явном численном перевесе египетских войск на Суэцком канале над израильскими, а также сообщалось, что израильская авиация господствует в воздухе. Голдобину было предъявлено обвинение «искажение ситуации на Ближнем Востоке в сионистских целях».

Когда он предъявил свидетельство о венчании родителей в православной церкви, слова «в сионистских целях» были убраны, но наказание осталось тем же — исключение из КПСС и увольнение с работы, означавшее, среди прочего, невозможность защиты уже подготовленной докторской диссертации.

Любопытно, что это не единственный случай, когда партийные деятели принимали церковные документы. Второй такой случай позволил получить хорошее распределение студентке ЛТИ, фамилия которой вызвала подозрение относительно её еврейского происхождения.

Голдобин был мужественный и весёлый человек, способный противостоять этому и другим ударам (уход жены и обострение болезней, являвшихся последствиями тяжёлого ранения.) Он продолжал интересоваться работами в своей области, а на жизнь зарабатывал переводами, которые ему организовывали друзья. На вопросы, не сменят ли партийные власти гнев на милость, он отвечал: «Я могу предсказать поведение злой собаки, но не бешеной». В 1980 г. его вызвали в Ленинградский горком КПСС и сказали, что готовы его простить и восстановить в партии при условии, что его возьмут на работу по специальности. Ему даже предложили пойти в Институт востоковедения АН СССР и обратиться к директору. Директор, хорошо знавший Голдобина, удивлённо сказал: «Как же я могу принять человека, исключённого из партии?!». Когда же Голдобин сообщил партийному чиновнику об этой реакции, тот возмущённо сказал: «Ишь чего захотел! Да если мы тебя в партии восстановим, мы тебя, может, на его место посадим».

Этот издевательский «футбол» окончательно подорвал здоровье Голдобина, и он скончался в 1981 г. Я тогда уже жил в Израиле, но моя дочь была на его похоронах и слышала, как кто-то из его коллег возмущённо говорил: «Загубили человека».

Другой пример был связан с процессом Жоры Михайлова. Этот человек превратил комнату в своей квартире в выставку художников, которых не принимали на официальные выставки. Его обвинили в извлечении из этого выгоды (кажется, в продаже слайдов) и устроили шумный публичный процесс. На этот процесс мой приятель и я были посланы в качестве членов народной

дружины, что было не лишено пикантности, так как мой приятель был завсегдатаем этих выставок, а я даже выставил там несколько набросков — лица библейских пророков.

Процесс закончился, как можно было ожидать, лагерем для Михайлова, а все произведения искусства, бывшие в его квартире, суд постановил конфисковать «с последующей реализацией через соответствующие каналы или, если их художественная ценность не будет признана экспертами, — уничтожением». Некоторые художники просили вернуть их работы и даже предлагали выкупить их; но им было отказано.

Мне это напомнило рассказ экскурсовода в Эрмитаже о том, как император Николай I вскоре после вступления на престол провёл ревизию коллекции картин в Эрмитаже и часть из них не одобрил. Продавать не понравившиеся ему картины он, видимо, считал несовместимым со своим достоинством, а просто уничтожить их, будучи рачительным хозяином, не мог. В результате было дано указание: «Стереть картины пемзой».

Вышперечисленные и многие другие гнусности усиливали ту смесь страха и отвращения, которая требовала оказаться подальше от всего этого. При этом страх был где-то на заднем плане, а от отвращения горло перехватывало.

Было нелегко вдруг бросить всё: интересную работу во главе коллектива, созданного при моём самом активном участии практически с нуля, друзей, широкий круг общения; любимые книги. Многие годы моей жизни в Израиле я грустно улыбался, наткнувшись взглядом на надпись над выходом из автобуса «Have you left anything behind?», хотя надпись всего-навсего спрашивала, не оставил ли рассеянный пассажир что-либо из вещей в автобусе. Любопытно, что прекрасные парки Крестовского и Каменного островов, по которым я гулял с детства, в этот ностальгический комплекс не входили. А вроде бы должны были входить — мой ближайший друг, выросший на том же Крестовском острове, как-то сказал: «Мы жили там как обедневшие аристократы — всё великолепие окрестных парков в будние дни принадлежало нам».

Может быть, моё еврейство уже тогда мешало мне чувствовать себя таким обедневшим аристократом и требовало противостояния не только русской культуре, но и русской природе. А может

быть, я вообще не приспособлен к ностальгическим вздохам типа «А помнишь, Вася, какое прекрасное у нас было будущее!».

Были, однако, и факторы, помогавшие мне принять идею отъезда: выезд людей, которые, как мне казалось, не имели никаких шансов на выезд; нарастающее отвращение к советскому образу жизни; мысли о том, что результаты моей работы могут быть использованы против Израиля (моя последняя публикация в Союзе была в соавторстве с зам. директора НИИ, разрабатывавшего ракеты класса земля — воздух); советы уезжать со стороны русских людей, в чьей доброжелательности у меня не было оснований сомневаться, и странное чувство, что жизнь, которую я вёл, уже кончилась и в ней уже не может быть ничего нового и интересного.

С отъездом одного из тех, кого, по-моему, не должны были выпускать, была связана довольно забавная история. Уехавший был сотрудником моей лаборатории и моим другом. Как завлаб я должен был подготовить на него характеристику. В этой характеристике я постарался описать его работу как сугубо теоретическую и далёкую от практических задач. Он благополучно уехал, а меня пытались уесть патриоты из мелкого начальства. Я пошёл требовать справедливости к директору, который заверил меня в своём хорошем отношении; но сказал «Вы же понимаете, Ваш сотрудник уехал в Америку, и говорят, что Вы тоже туда собираетесь». Я разозлился и сказал: «Пока я никуда не собираюсь, а если соберусь, то ни в какую Америку не поеду, а только в Израиль». Реакция оказалась неожиданной: директор встал и молча пожал мне руку.

Прошло года полтора; мой друг уже работал в солидной американской фирме, а ко мне обратился начальник первого отдела, по слухам, выгнанный из КГБ за пьянство, страстный рыбовод, с которым я пару раз обсуждал красоты Карелии. Он долго мялся, а потом объяснил, что от него требуют прислать характеристику на моего уехавшего сотрудника, а она потерялась, так не могу ли я её восстановить по памяти. Эта просьба каким-то странным и непонятным для меня образом была связана с обязательным переводом допуска (у моего друга была вторая форма допуска — так же, как у меня) на новое место работы. И я изо всех сил сдерживался, чтобы не расхохотаться, представляя реакцию американской фирмы, в которой к тому времени уже работал мой друг, на получение

этого самого допущения. Тем не менее я сделал серьёзное лицо и восстановил эту самую характеристику, чему начальник первого отдела был страшно рад и долго меня благодарил.

Постепенно у меня сформировалось желание стать частью рискованного эксперимента — восстановления еврейской нации из очень старых и зачастую не очень симпатичных обломков. Непрезентабельность этих обломков и в особенности их готовность попеременно изображать русских интеллигентов и гордых родственников Эйнштейна играла не последнюю роль в формировании моего желания поискать другую еврейскую общность.

Впрочем, решающим фактором, заставившим меня предпринять практические шаги для отъезда, стала бескомпромиссная сионистская позиция моей жены.

В статье «Бытовой террор» (Вести. 2002. 7 марта) Наташа Мозговая пишет: «Те, у кого есть ответ на вопрос “Зачем я сюда приехал?”, спрашивают: “Зачем я продолжаю здесь жить?”. Те, у кого есть ответ на это, спрашивают: “Как долго это будет продолжаться?”. Спрашивать: “Куда мы идём таким путём?” мало кто отваживается». Я почти ничего не знаю об этой журналистке, и сама статья производит скорее благоприятное впечатление — по крайней мере, в ней нет истерических воплей и идиотских предложений покончить с террором одним ударом, так характерных для нашей русскоязычной прессы. Но задавать себе все вышеприведённые вопросы мне в голову не приходило, а вопрос «Куда мы идём?» я часто обсуждал со знакомыми и не очень знакомыми людьми и не понимаю, почему для его обсуждения нужна отвага.

На вопрос «Зачем ты сюда приехал?» мне пришлось отвечать в первый раз ещё на моих первых военных сборах в Израиле (кажется, в 1982 г.). Задал мне его еврей из Техаса, видимо, удивлённый моей способностью сносно трепаться на английском. Сам он совершал алию уже во второй раз, очень жалел об утраченных возможностях великолепной охоты на просторах Техаса и беспокоился, не запросится ли его жена обратно в Америку. Он говорил и о том, как любит Израиль, прежде всего как профессионал-фотограф. Мой ответ, что я приехал в Израиль из самоуважения (self-respect) его полностью удовлетворил, и мы с ним очень мило трепались во время военных сборов.



Если бы я попытался разъяснить, что я подразумеваю под этим самым самоуважением, наверное, получилась бы обычная религиозно-сионистская банальность, поскольку вряд ли я могу объяснить ту эмоциональную составляющую, которую я считаю главной в самоуважении. Эта эмоциональная составляющая включала и чувство отчуждённости по отношению к России, которое я испытывал с тех пор, как себя помню, и отвращение к тому, что называлось «советский образ жизни», и надежду стать частью какого-то своего, но общего дела, и уж не помню что ещё. Чего там не было — так это надежд на более богатую жизнь (скорее наоборот, был страх не найти способа зарабатывать на жизнь, да и вообще для меня утрата друзей была и в какой-то мере и осталась куда более серьёзным испытанием). Не было и традиционного «не для себя — для детей!», потому что дочь, зять и внук как раз оставались в СССР, а дама из ОВИР'а ещё и предупредила, что их-то они ни за что не выпустят. Слава Богу, её предсказание не сбылось.

Моё еврейство родилось из той области знания, которую я могу обозначить как поиск религиозного смысла истории, и это еврейство потребовало от меня переезда в Израиль. При этом я никогда не любил лозунга «Еврей должен жить в Израиле!», никогда не клеймил позором уехавших отсюда (и не любил тех, кто клеймил). Я просто чувствую, что эта страна подходит мне больше, чем любая другая, несмотря на то что мне в ней многое не нравится.

#### *Примечание Н.В. Юхнёвой*

Обращает на себя внимание в статье доброжелательность автора. Не забыт, кажется, никто, кто сделал ему добро. Написано с симпатией обо всех — от русских сослуживцев до встреченных в экспедиции узбеков. Имеется и обобщение — автор заявляет, что ему всегда везло на хороших людей. Есть адекватное понимание особенности русской интеллигентской ментальности. Эмоциональное неприятие антисемитизма и симпатию к евреям (независимо от положительных или отрицательных качеств конкретных людей) Утевский объясняет тем, что за антисемитизм русские болезненно чувствовали свою ответственность.